

Ольга
РАКИТЯНСКАЯ

г. Москва

ЕЛЬ Б ЗОЛОТОЙ ВЕРШИННОЙ

рассказ

Дом пел, умирая. Не стонал, не кричал, не жаловался на судьбу — именно пел.

Это было похоже на погребальные плачи, которые Юрий Михайлович слышал давным-давно, лет сорок назад, в карельской деревне у бабушки — в тот день, когда в Березне хоронили прадеда.

Старшие женщины — и бабушка среди них — плескали над гробом широкими белыми рукавами, будто крыльями, причитали-курлыкали звенящими лебедиными голосами. И оттого казалось, что прадед со строгим лицом, тоже облаченный в белое, вовсе не умер, а отправляется в путь. Не в гробу он, а в лодке — плывет вслед за белыми лебедями, за звенящим курлыканьем, на север по родной реке Волчине — все вниз и вниз, и вверх...

Взрослые говорили потом, мол, как жутко бабки причитают. Мороз по коже. А маленькому Юрику вовсе не было страшно. Наоборот, казалось, что теперь-то с прадедом все будет хорошо. Лебединая песня, будто ласковые воды Волчины, несет его туда, куда и должно, — к «белым хорошим родителям», в края Большой Медведицы, как переводила ему бабушка непонятные карельские слова причитаний. И Юрик ясно видел этих «белых родителей», как стаю лебедей, радостным плеском крыльев встречающих и принимающих еще одного брата.

Умирающий дом пел, но этого никто не замечал. Никто, кроме Юрия Михайловича. И он один знал, почему это так. Балки этого старого дома были сделаны из чистой ели — той самой редкой древесины, из которой рождаются лучшие скрипки, виолончели, гитары с грудным лебединым голосом.

Должно быть, лет полтора назад где-то в лесах под Архангельском или Вологдой срубили столетнюю ель. Срубили вместе с сотнями других, чтобы отправить на юг, в далекие большие города, где из их стволов предстояло родиться домам. Ели пустились в долгий путь по северным рекам, прохладная вода серебрила понемногу их стволы, вымывая смолу. Они плыли все вместе, бок



о бок — так же, как росли когда-то в лесу, и никто не подозревал, что есть среди них особенная ель — поющая.

Может быть, только строители, возводя этот дом, удивлялись немного и серебристому шелковому блеску, и ровным, струистым, будто речные волны, волокнам, и звонкой гулкости балок. Но задуматься им было некогда, да и незачем — закончить бы работу в срок. И поющая ель замолчала на полтора года, подпирая крышу и перекрытия.

За долгие годы серебро древесины чуть потемнело, померк шелковистый блеск. Но опытный глаз музыкального мастера все же узнал поющую ель — так узнают лица родных после долгой разлуки, под сетью морщин и тенями прожитых лет. Юрий Михайлович знал, что песни ели не погибли. Напротив, годы высушили ее до серебряной звонкости, голос ее окреп. Именно теперь она могла спеть лучшие свои сказки.

И он, конечно, никак не мог оставить ее здесь, среди рухнувших перекрытий мертвого дома.

Резонансная ель, добытая из снесенного здания, с самого лета лежала в мастерской, а Юрий Михайлович никак не мог к ней подступиться. И совсем не потому, что не хватало времени — его всегда не хватало. Дело было в другом: всякий раз, когда Юрий Михайлович начинал прикидывать, к чему бы приспособить найденное, и представлял себе при этом то полногрудую красавицу гитару, то легкую скрипку, то стройную виолончель — ему непременно что-то мешало. Будто плотный белый туман накрывал его с головой и мысли тонули в нём, так и не успев до конца родиться.

Может быть, причина была именно в ней — в той последней погребальной песне старого дома? Песне, так неожиданно похожей на полузабытые бабушкины причитания? Юрий Михайлович был единственным из людей, кто услышал ее и заметил, и потому невольно ощущал ответственность. Дом будто что-то завещал вместе с поющей елью, так долго служившей ему костями, — и нужно

было сперва как следует разобраться в этом завещании.

Стояла поздняя осень, ночи начинались теперь рано и становились все длиннее. «Время темных ночей», — называла эти дни бабушка. Юрий Михайлович часто теперь вспоминал ее и лебединые крылья, плескавшие с нездешним курлыканьем над деревянным гробом-лодкой, над незримой рекой, текущей на север.

Постепенно в душе Юрия Михайловича зарождалась неясная мысль, которую он сначала отбросил как слишком уж странную. Но мысль оттого никуда не делась, она продолжала жить и расти, обретая все более четкие очертания. И к концу октября Юрию Михайловичу стало совершенно ясно: из добытой струистой ели он будет строить кантеле. Не на продажу — для себя.

Кантеле — «струнный короб» — древний карельский инструмент. Верный друг и помощник рунопевцев-поэтов и знахарей-ведунов, умевших лечить и находить пропавшее — человека ли, зверя ли, самого ли себя. Причем это полузабытый теперь инструмент, даже в бабушкины времена в Березне на нём уже не играли. Но Юрий Михайлович, конечно, знал о кантеле: музыкальному мастеру многое нужно знать. Странно только, что до сих пор он никогда не задумывался о кантеле всерьёз — хотя, случалось, строил и мандолины, и домры, и даже средневековую тальхарпу для одного ансамбля старинной музыки. А о кантеле не думал никогда. Неужели тоже забыл?

Юрий Михайлович теперь много читал о кантеле. Читал по ночам — днём совсем не было времени на себя. И понимал уже, что хочет сделать самое древнее кантеле — не сложенное из дощечек, а долбленое, с нижней декой из березы, — кантеле, очень похожее на те лодки-долбленки, которые Юрий Михайлович еще застал в глухих лесных деревнях, похожее на лодку и на Большую Медведицу. Это была странная мысль, но чем больше смотрел Юрий Михайлович на рисунки и фотографии старинных кантеле —

тем яснее видел в их расширяющихся крыло-видных формах звездный небесный ковш. И понсо — подставка для струн, в которой вроде бы не было никакой необходимости, — выдавалась на этом ковше, словно Полярная звезда. «Дедов гвоздь, — так называла Полярную звезду бабушка и добавляла: — На этом гвозде весь мир держится». Не потому ли исчез он, тот бабушкин лесной карельский мир, что погасла понсо-звезда, а люди забыли кантеле?.. А может быть, и не исчез он? Может, притаился, уснул до времени, ожидая, когда снова всплеснет лебединым крылом, закурлычет лебединым голосом кантеле из столетней ели?

Юрий Михайлович выдалбливал кантеле по ночам — после того, как сделает все дневные дела по заказам. Ночи стояли почти ясные, несмотря на ноябрь, уже ударили первые морозы, и за окном мастерской по молочным волнам тумана плыла, покачивая бортами, светлая лодка растущей луны. Когда Юрий Михайлович поднимал на неё усталые, слезившиеся от напряжения глаза, ему иногда казалось, что в лодке сидит прадед — такой же, как тогда, в последний и первый день далёкого пути, — в белых одеждах, со строгим лицом. Прадед закидывал сети в туман и ловил звёзды, чешуя их мерцала живым серебром сквозь облачные струи.

Иногда лунная лодка скрывалась за вершиной панельной многоэтажки, чтобы вскоре показаться с другой стороны. Раньше в ночной темноте эти многоэтажки казались Юрию Михайловичу каменными кручами. Теперь же он вспоминал, как в детстве сидел вечерами на берегу Волчины и смотрел, как луна вот так же ныряет между ветвями древнего ельника.

Раньше в Березне никто не трогал старых деревьев в ельнике за рекой: бабушка объясняла, что это «родительское место» — особое, святое. А когда строили новый дом или копали землю под баню или сарай, нельзя было корчевать старые пни во дворах и обрубить старые корни в земле. Бабушка рассказывала: «Вот один мужик в Зайцево лет тридцать тому назад не послушался стариков, выдернул

пень из земли, корни обрубил да выкинул — хлев, вишь, строить ему мешал. Так сначала у него корова сдохла, а потом и самого так пришибло, что всю силу мужицкую растерял. И то, может, это он, дурень, на прадеда своего топор-то поднял? Собственный корень перерубил! А без корня какая сила?..»

А что было здесь, в городе? Когда возводили вот эти панельные многоэтажки на месте прежних деревень и хуторов? Обрубали ли старые корни? Или просто наскоро залили все бетоном и асфальтом, и корни уснули в земле, как уснула когда-то на полтора-два года поющая ель?

По ночам в тишине и безлюдье просыпаются и встают над городом тени древних елей, берёз и сосен, колышутся многоэтажки, будто лесные кроны. И белые предки-родители плывут между них в лунных и звёздных лодках, всматриваются в воды туманной реки — как-то живут там, на дне её, потомки? Не зовут ли на помощь из глубины лебедиными голосами?

К концу ноября кантеле было готово. Юрий Михайлович натянул на еловую деку струны с бронзовой оплеткой, покрутил деревянные колки, настраивая, положил на колени, провёл осторожно по струнам рукой — от себя, на себя. Что-то получилось?

Кантеле отозвалось, запело, закурлыкало лунным, лесным, ни на что не похожим голосом, — голосом, что родился в далеких северных чашах, странствовал по холодным рекам, а после уснул на полтора-два года, чтобы набрать силу, — и вот теперь пробудился, закачался в долбленной лодке на струнных волнах.

Юрий Михайлович, сам не зная почему, беззвучно заплакал. За окном в ночной тишине сыпался на город первый снег.

Все долгие зимние ночи Юрий Михайлович учился играть на кантеле. Он скрывал это от друзей-мастеров, учеников, заказчиков, потому что боялся увидеть насмешку в чьей-нибудь ухмылке, в сощуренных глазах. Скажут, мол, примитивный инструмент! А для него кантеле не было примитивным. Он,

пожалуй, и вовсе не думал о том, простой это инструмент или сложный. Это была его лодка, и он плыл на ней куда глаза глядят — по зимним большим снегам, к Большой Медведице, в детство.

В конце марта снег уже почти стаял: весна в том году выдалась дружная. Небо по вечерам уже не чернело, оно наливалось будоражащей свежей синевой, и Юрия Михайловича неудержимо потянуло в лес. Но времени, как всегда, не хватало, и поэтому в одну из ночей, когда зов леса стал нестерпимым, Юрий Михайлович подхватил кантеле и отправился в сквер на пруды.

Тот район новостроек когда-то возводили с размахом, почти не экономя площади, оттого протекавшую здесь реку Синьгу не закатали в бетонные трубы, а лишь перегородили кое-где мостиками и небольшими плотинами, так что посреди многоэтажек появились Синие пруды. По берегам прудов густо росли кусты сирени, в них майскими ночами пели соловьи. Горожане любили гулять здесь целыми семьями, но сейчас, прохладной мартовской ночью, на прудах никого не должно было быть. От многоэтажек пруды отделяла широкая полоса деревьев, кустов и проезжей дороги, так что и Юрий Михайлович не боялся нарушить ничей покой.

У самого дальнего пруда скамеек не было. Юрий Михайлович, оглядевшись, присел на широкий еловый пенёк. Пеньёк был очень старым, потемневшим от времени, трещины змеились по нему. Должно быть, эта ель росла здесь еще до новостроек.

Юрий Михайлович положил кантеле на колени, вдохнул всей грудью мартовского талого воздуха и занёс руки над струнами...

Он играл, может быть, еще неумело, но сейчас не думал об этом. Перед глазами стояли Волчина, ельник, золотые кувшинки полузабытого детства.

Помнится, бабушка рассказывала ему сказку про ель с золотой вершиной, про кукушку с золотой грудкой, поющую на ветвях, о том, что было, что есть, чему быть предстоит. Именно там, на вершине ели, сиял Дедов гвоздь...

И тогда он увидел ее. Бабушку. Она вышла словно из ниоткуда — белая, лунная, сотканная из тумана. Но это была она — Юрий Михайлович точно знал.

Бабушка улыбнулась ему. Он не видел ее лица, но почувствовал — улыбнулась.

«Бабушка, ты откуда? Ты же умерла. В Березне», — не проронив вслух ни слова, спросил он: струны сказали всё за него.

«Я всегда с тобой, внучек. Просто ты позабыл. Да и не только я — вот посмотри, что будет», — был безмолвный ответ.

И Юрий Михайлович увидел. Словно из ниоткуда, потянулась к нему нескончаемая вереница белых людей — молодых, старых, мужчин, женщин в лунных серебристых одеждах. Они проходили по одному, улыбались ему, кланялись, что-то повязывали над его головой.

Они все — мёртвые, понял он. «Белые родители». Такие же, как и бабушка.

Но страха не было. Напротив, пришедшие будто укрывали его белыми лебедиными крыльями, и становилось так хорошо, радостно и спокойно, как не бывало очень давно. Пожалуй, с самого детства.

Кого-то из них он узнавал: вот прадед со строгим лицом и рядом с ним молодая женщина — должно быть, прабабушка. Она умерла задолго до рождения правнука. Другие были ему незнакомы, но и от них плескались волны чего-то ласкового, будто воды Волчины в далёком детстве. Они все желали ему добра. И были за что-то ему благодарны.

Но что это все они повязывают? И куда? Только теперь Юрий Михайлович заметил, что над ним вздымает широкие лапы огромная мощная ель. Должно быть, та самая, на пеньке от которой он сидел.

Только где же сейчас он сам?..

Не переставая играть, Юрий Михайлович огляделся, прислушался и понял вдруг: это он сам стал елью. Той самой елью с золотой вершиной из бабушкиных сказок. Корни его глубоко ушли в землю; и, опираясь на эти корни, он играл и покачивал мощными ветвями, и чувствовал, как соки земные бегут по стволу, наполняют силой тело. И ему так хо-

телось поделиться мощью своей с людьми, что кантеле в его руках запело еще чудеснее, изливаясь, словно родник.

«Здесь был источник с целебной водой. И великая ель-хозяйка. Люди издалека приходили — по ночам, вот как сейчас, чтобы никто не помешал», — узнавал он. И мысленно спрашивал: «А теперь ничего не осталось?» «Теперь остался ты», — отвечали ему.

Белые люди шли и шли, и улыбались, и кланялись, и каждый повязывал на еловые ветви белый лоскуток тумана. А потом нагибался и оставлял у ног-корней то ли золотую монету, то ли медную рыбью чешуйку. Или, может быть, звезду?

«Только играть не переставай...» — велели белые люди.

Юрий Михайлович, ставший елью, кивал золотой вершиной и играл, и Дедов гвоздь светился в синеем мартовском небе. Откуда-то издалека доносилось звонкое курлыканье — стаи лебедей возвращались с весной на север.

Он и не подумал, конечно, собрать монеты-звезды, что принесли люди в белых одеждах к его корням. Только поутру на следующий день снова сходил на то место. Возле широкого черного пня золотой россыпью цвела мать-и-мачеха — первая в этом году. Юрию Михайловичу показалось, что россыпь та очень похожа на Большую Медведицу.

ТОЛСТАЯ БЕРТА

рассказ

Старик опять не пришел. Это его отсутствие было словно разлито в самом воздухе — еще раньше жаба почувствовала, что он не придет. Но все-таки она сложила пухлые лапки под головой, полуприкрыла золотые глаза и ждала. Она привыкла ждать его здесь, на березовом мостике, — два бревнышка перекинута через лесной ручей. Привыкла за много-много весен и лет. Зимы и осени были не в счет — тогда жаба, застывшая, оцепенелая, спала где-нибудь на краю болота в куче листьев и хвороста. И старик, должно быть, тоже спал — может, под сугробом, в человеческой тесной куче, как спят зимой змеи. Каждую осень с приходом холодов засыпал весь мир, который знала жаба, — значит, и старик тоже засыпал.

По весне, когда дыхание тепла проникало под кучу листьев и в бок начинали колоть проклюнувшиеся юные травинки, жаба выползала на свет и двигалась к ручью. По дороге какой-нибудь жабий ловкач непременно вскакивал ей на спину, сжимал бока крепкими лапками — не оторвешь, не сбросишь. Ползти с таким грузом становилось труднее, но жаба была не против — там, в ручье, ей нужно было успеть наплодить побольше икринок. Из икринок выйдут верткие головастики, в ручье станет тесно, потом головастики станут жабытами, отбросят хвосты, отрастят лапки, разбредутся по лесу, болоту, другим ручьям, наплодят по весне собственных икринок. И когда в одну из весен прежняя старая жаба не проснется под кучей листьев, она все-таки снова выйдет на свет из икринки. Ей понадобится время, чтобы снова пройти тот путь от головастика до жабенка, потом она отрастит за год-другой круглый животик и пухлые лапки. А старик будет грустить у березового мостика, думать, куда же

она пропала, не съел ли ее уж, не поймал ли за лапку ёж, не настигла ли норка. Что ж, в этом мире всегда приходится ждать. Но она — Мать жаб, ей нужно возвращаться. И однажды весенним утром она снова встретит старика на мостике. И скажет ему: «Ква!» Так бывало уже не раз.

А вот что было, когда старик пришел в последний раз.

— Толстая Берта! — обрадовался он жабе. — А я все думаю, куда ты опять пропала? Переживал грешным делом: может, в этот раз и вовсе не вернешься?

— Ква, — говорила толстая Берта, смотрела на старика золотыми ночными глазами.

Жаба и старик усаживались друг против друга: он — на берегу ручья, на зеленой траве, она — на мостике, — смотрели друг на друга и молчали.

Говорил ей старик:

— Долгая была зима, Берта.

— Ква.

— Долгая. Ну да на северных морях она еще длиннее...

Жаба не знала, что такое море. Зато она знала ручей и болото, и влажный весенний лес. И ей нравилось слушать голос старика.

— ...Бывало, стоишь на мостике в шторм — весь обледенеешь. Мостики-то тогда открытые были... Не щадили нас, моряков. Мы сами себя не щадили...

— Ква.

Белые облака плыли над лесом, отражались в водах ручья — бурых, как жабыя спинка.

— А в южных-то морях, думаешь, легче? — продолжал старик. — Тепло там, тепло — да как задует бора, как понесет незнамо куда! Так и тянется рука-то к сундучку, хоть чистую рубаху перед смертью переменить, к родителям в белом отправиться, как подобает... В штиль зато хорошо — море, оно отходчиво. Плещется синее, золотое, чайки кричат, дельфины играют. А на севере — там белухи. Большие такие — то ли дельфины, то ли киты. Всплывают из-под воды, как облака на небе, фыркают, глазом косят.

Жаба слушала рассказы старика, полужак-

рыв золотые глаза, и дремала. Луч солнца, пробившись сквозь июньскую листву берез, ласкал её бугристую спинку.

— Хорошую жизнь я прожил, Берта. Хорошую. Ходил по морям, всякое повидал. А все-таки вернулся в родные леса да болота. Надо же было кому-то вернуться. Хотя бы одному...

Старик достал из мешка за плечами что-то похожее на золотое крыло, только пахло оно не птицей, а деревом. Пристроил на колени, перебрал пальцами золотистые перья, и оно начало петь.

— Слушай, Берта, — говорил старик. — Это кантеле выдолбил Матти, самый старший из моих братьев. Иво натягивал струны — он ведь учиться хотел на инженера, любил по металлу работать. Миша пел — голос у него был хороший, звонкий, как ручей по весне. Спрашиваешь — мол, а я что? А я мальцом был совсем, только проказничать и умел. Видишь, на «брюшке» кантеле царапины? Это я имя свое нацарапать пытался — ЮРИ... Буквы-то корявые какие. И видишь, как вышло, Берта: играю теперь я один.

Деревянная «птица» пела, журчала, словно ручей, плакала рассветной росой, и по влажной жабьей коже пробежали ласковые волны.

— Где мои братья, Берта? Где Иво, где Миша и Матти? Один, говорят, в болотах под Ленинградом. Другой — под Курском, я там не бывал никогда. Третий — тоже в болотах, в Полесье. Жена моя оттуда. У нее всю родню расстреляли в местечке. И могил не осталось ни от них, ни от братьев моих. Где их искать? Почему только я остался?.. Почему один вернулся?

Деревянная «птица» пела, беззвучно плакал старик, и жаба видела, как за спиной у него встают трое белых людей. Один обнимал Юри за плечи, другой ласково ерошил его волосы. Третий, присев рядом в траву, слушал песню деревянной «птицы», склонял голову набок, будто и сам был птицей лесной. Жабе нравились эти люди. Только почему их не видел старик?

Когда старик уходил, тяжело ступая по траве и мхам, жаба прыгала в ручей. Она не

очень-то любила показываться на глаза ни людям, ни зверям, ни птицам.

Жаба знала, что старик вернется. Не завтра, так послезавтра. Не послезавтра, так еще через несколько дней, но непременно снова придет к березовому ручью, и они станут глядеть друг на друга, и станет петь деревянная птица.

Но вот старик не пришел, не было его и вчера, и позавчера, как много-много дней подряд.

Солнце стояло уже высоко, лучи его, падая отвесно сквозь листву, скоро станут слишком горячи для нежной жабьей спинки. Пора было спускаться в ручей, в прохладную воду.

Жаба шевельнулась, и в это время на берегу послышались шаги.

Это был не старик — его походку жаба успела хорошо узнать за эти годы. Она нырнула в ручей и спряталась в куртинке водяной травы, выставив наружу только глаза — самый край бурой мордочки. Теперь ее не заметил бы даже острый птичий глаз, не говоря уже о человеческом, зато сама жаба видела и слышала всё.

Из берез и сосен вышли двое — мужчина и женщина. Они держались за руки, а за спинами у них были такие же мешки, как у старика. Женщина показалась жабе смутно знакомой. От нее веяло одновременно счастьем и печалью. Чувства людей вообще бывают странно смешаны — к этому жаба тоже давно успела привыкнуть.

Увидев березовый мостик, женщина радостно вскрикнула и сжала руку мужчины.

— Вот он! Я же говорила, что найду!

Она опустила на зеленую траву у самого ручья — точь-в-точь как старик. Пригорюнилась, свесив над ручьем пряди светлых волос, будто береза в июне.

Мужчина присел рядом с ней.

— Вот сюда он приходил. Сидел здесь подолгу. Один. Особенно после того, как бабушка умерла. Правда, пару раз приводил нас с братом с собой — он любил нас водить по лесу...

Теперь жаба вспомнила. Конечно, это был

один из головастиков старика — тот называл их внуками.

Жаба никогда не понимала, зачем люди так возьмется со своими головастиками — проще ведь позволить им самим набраться опыта, научиться себя защищать и добывать еду. Впрочем, быть может, это потому, что головастиков у людей так мало?

— ...Но мы глупые были тогда. Маленькие. Бегали, шумели, пытались ловить головастиков в ручье. Наверно, поэтому он нас больше сюда не водил. Дед любил тишину. Особенно здесь. И все-таки я запомнила...

Мужчина приобнял женщину, погладил ласково по плечу. Обернулся к ручью — и жаба вдруг поняла, что он смотрит прямо на нее. Острый взгляд оказался у этого человека. Может быть, потому, что глаза его плавали в двух круглых прозрачных льдинках и оттого делались похожими на жабы?

Жаба тут же прикрыла свои золотые глаза, но было поздно.

— Гляди, там жаба! — сказал мужчина.

— Тс-с, — прошептала женщина. — Не пугай ее. Наверно, это дедушкина лююли...

— Кто?

— Лююли, — повторила женщина. — Лесной друг, приносящий счастье. Раньше у многих карел были такие друзья. Кто дружил с ёжиком, кто — с ужом, кто — с оленем. Были даже такие, кто дружил с рысью. Лесного друга нельзя обижать, даже если у тебя совсем плохи дела. И лесные духи посылают тебе за это удачу. Сейчас мало кто про это помнит... Но вот у дедушки была его жаба. Ты знаешь, он всегда из леса столько грибов и ягод приносил...

— Он же был лесовик, каких мало, — сказал мужчина.

— Да. Мне кажется, это всё связано. Любовь к лесу, подарки леса, жаба-друг... Я ведь помню: он звал её толстой Бертой. От нас она, правда, сразу в ручей пряталась. И очень толстая, солидная была. Потом мы с братом через деда передавали ей приветы.

— Столько лет прошло, а ты с детства помнишь её? — удивился мужчина. — Да ну, не может быть. Жабы столько не живут. Наверное, это другая.

— Другие не живут, — женщина пожала плечами. — А дедушкина — живет. Я точно знаю. Дедушка ведь успел... в последний раз сходить сюда. В сентябре. Теплый сентябрь был. Помнишь? И дедушка тогда сказал: видел толстую Берту, ещё не заснула. Повидались они напоследок. Дедушка бы не стал зря придумывать.

Женщина задумчиво погладила мешок, который сняла со спины.

— Знаешь, дедушка всегда играл здесь на кантеле... — сказала она мужчине. — Дедушка говорил: кантеле для леса создано, лесным голосом поет.

Она развязала мешок и достала из него то самое «крыло» деревянной птицы. Жаба сразу его узнала. У нее раздулось от волнения горлышко — она с трудом удержалась, чтобы не квакнуть.

Женщина пристроила золотистое «крыло» на колени, занесла руки над струнами. Оно запело лесным птичьим голосом — немного другим, чем в руках старика, но все же знакомым.

И тогда жаба догадалась, почему не пришел старик. Она ведь и сама раз в несколько лет не просыпалась под листьями, не приходила

на зов старика. Ей нужно было снова вылупиться из икринки, чтобы вернуться к лесу, ручью, болоту и другу. Просто с людьми это случается реже, их бывает потом труднее узнать. Но она ведь узнала.

И тогда жаба вылезла на деревянный мостик, посмотрела на новых людей золотыми глазами.

— Толстая Берта! — обрадовалась женщина.

А жаба сказала:

— Ква!

□

Ольга Сергеевна РАКИТЯНСКАЯ —

тверская карелка, родилась в г. Дубна,

выросла и училась в ЮАР,

живет в Москве.

Поэт, прозаик.

Автор книг «Горсть земли»,

«Северная Песня Песней», «Песни Синего камня».

Лауреат Тверской литературной премии

им. Натальи Серовой (2023).

Лауреат Международного конкурса

малой прозы «ЭтноПеро» (2023).

В журнале «Север» публикуется впервые.

